

Вырезка из газеты

СЕВЕРНАЯ
ПРАВДА

г. Кострома

10 АВГ 1975

ОН МЕДЛЕННО открывался передо мной...

Эта обнаженность, обманчивая русская обнаженность, я знал ей цену. Она доставалась потом и кровью, острыми всплесками мающегося в тишине таланта. Всякая решительность покидала меня, едва я делал осмысленный шаг ему навстречу. Истивала как льдышка. Но стоило мне чуть замкнуться в себе, обратиться внутрь, как Рахманинов входил в меня сразу, без предупреждения, становясь естественным продолжением меня самого. Так было всякий раз, когда в темноте комнаты я нашаривал пластинку с его ре-минорным концертом, ставил ее и замирал рядом, на полу, в неудобной позе, которой не замечал.

Если бы я никогда не слышал о Рахманинове (я стал об этом думать позже), я бы вздрогнул, приклонился к земле в том месте, где меня застали его неповторимые звуки. Я бы испугался, узнав все эти рассказы о времени, которое прошло, но которое надо вернуть и оставить незабвенным, почти легендарным. И Рахманинов возвращал его с той легкостью и осязаемостью, с которой это умеют делать русские. Вместе с ним я возвращался в детство. Я летел в него на крыльях упругой мелодии...

Низкая, полегающая от росы трава, молочный луг, гимнастическая спина отца, размахивающего серебристой косой... Высокие, трепетные облака северного лета, заросли ольхи, лобовые шлепки ошалелых майских жуков.

Мать полощет белье в реке, мыльная полоса в воде. Брат, сидя на коленах, срезает гриб. Окошко одной девушки, возле которого я просидел всю ночь. Зеленая болотная вода, морошка, гонобобель, черника. Ужи на карьерах. Болотное маврево.

Весенний пал травы по еще сохранявшимся окопам. Патроны в земляной круче на

берегу реки, русские и немецкие, гильзы от снарядов с пробитыми капсулями. Ребята постарше стреляют из немецкого обреза по подвешенной к кусту мине и орут, чтоб не подходили. Мина не взрывается.

Капустные кочерыжки на пустынном поле, как строй за-

Отца я по-своему любил. После войны его руками были сделаны кровати, пружинные матрасы, шкаф, табуретки, стулья. Он не мог спокойно пройти мимо валяющейся железки или доски. Карманы у него были набиты гвоздями, какими-то ключами, и всегда там лежал складной метр.

редкими фонарями, метельная, узкая. Нас двое, мы идем и смеемся, счастливые, еще не умея целоваться, еще не ведая, что это такое. Заброшенная, завьюженная стройка с одиноким глазом - прожектором, и мы сворачиваем, садимся под козырек пахнущего сосной сарая, смотрим в глаза друг другу, в глаза и на снег. Потом трем щеками нежно и долго...

Она бежит за поездом, некрасиво, неправильно, словно провожает на войну. Я стою в тамбуре и строго машу рукой, а душа не на месте. Но мне надо брать, а не отдавать, я слишком долго спал в детстве, мне надо проснуться и стать взрослым. Она не понимает этого, бежит долго, сосредоточенно, как на работе, а колеса уносят мою никому не нужную сложность, уносят, чтобы испытать ее... В жизни так до конца и не узнаешь, что ты приобрел, что потерял.

...Не всегда Рахманинов возвращал меня в детство. Были и другие картины, по-своему неповторимые и счастливые, но всегда это было прожитое, всегда хотелось попасть в него еще, на этот раз без ошибок и досадных промахов. А ошибки всегда были и, наверное, будут; жизнь проживаешь на черновик, и ничего с этим не поделаешь.

Рахманинов — целый мир, стоит только протянуть руку. Как и каждый человек, я могу быть удрученным, озлобленным — Рахманинов врачует мою душу, поднимая в ней все светлое, человеческое; могу быть самоуверенным, крикливым — он сдерживает мои страсти, возвышая, очищая их, заставляя быть мужественнее и прочее. Он не дает быть тусклым, повседневным, он ждет от каждого остроты и тревоги за судьбы времени, зовет на каменные тропы искусства, где дьявольски трудно, но столь же прекрасно.

В. СТАРАТЕЛЕВ.

РАХМАНИНОВ

Новелла

стывших солдат. Всплавивает мать: иду в первый класс с противогазной сумкой. В сумке белая чернильница-непроливайка, красный петушок на ней. Идти надо через лес, а в лесу волки. Нас сопровождает припадающий на одну ногу высокий военный.

Белизна покрывал и бедных занавесок в комнате, запах чистоты и снега, неповторимый запах родины моей.

Ноябрьские холода в реке; отец, выпрастывая слюдяной намет, кидает в меня мокрой рыбой и смеется. Задыхался от страха, я ищу в траве толстого окуня и нахожу его, перевитого осокой и камышовником. Вздрагивает рыба в сумке, вздрагиваю я. Отец достает папиросы «Норд», чиркает спичкой, и я запоминаю его костистый в светящихся ладонях профиль.

Поездки в город за покупками. Перебранки отца с матерью из-за ста граммов. Для отца повод выпить, мать в заботах, а для меня ужас потеряться в толпе. То же самое чувство от слов «такси», «ресторан». Их, как огня, боится мать. Боюсь и я. Отец — нет, он причастился.

Полустершийся такой. Когда темно, отец пробирался на свалку, таскал спинки старых кроватей, очищал их от ржавчины, потом долго красил под серебро, хотя ржавчина все равно проступала. Мы спали на этих кроватях да так и выросли. В то время я стыдился бедности, потому что у других все было покупное, лучше, но зато какую гордость испытал я за отца, когда понял, чего это ему стоило!

Десятилетним часами лежал на крыше самого высокого в поселке дома и слушал репродуктор, висевший на потемневшем от дождей деревянном шесту. Я забирался туда обычно с утра, а в полдень крыша накатывалась и гнала меня обратно. Колокол ревел железной глоткой, искажая звуки, шест, если прислонить к нему ухо, сипел и бился, как неприкаянный, но в те годы передавали Глазунова, а чаще Римского-Корсакова, седебородых великанов, а под них так хорошо, так несбыточно мечталось... Кто бы мог подумать, что они окажутся и первыми, и последними моими учителями! Длинная зимняя дорога с